

## **Воспоминание о бронзовых часах**

*Когда-то в детстве, много лет назад, на перекрёстке двух нешумных улиц я увидел старинные часы, пленившие моё воображение. Смешной уродец, бронзовый паяц в камзоле и шапчонке с бубенцами, в неярком свете крохотной витрины нёс на спине тяжёлый чёрный шар с огромным пожелтевшим циферблатом. Отточенные бронзовые стрелки показывали без пяти двенадцать. А ноша столь была несоразмерна согбенному уродцу, что казалось: сейчас сойдутся стрелки и разрежут невидимую нить, что держит шар. И тот тогда всей тяжестью своею, обрушится на жалкого безумца, рискнувшего взвалить на плечи Время.*

*Но стрелки не сходились. Вероятно, хозяин мастерской был слишком занят, чтоб завести старинные часы. Мне было видно сквозь стекло витрины, как он, хитро зажав под бровью лупу,*

*склонялся над каким-то механизмом, и в поле зрения оставался только тёмноволосый стриженный затылок...*

До сих пор я помню каждую деталь, каждую щербинку на теле той, так поразившей меня бронзовой статуэткой. И недвижно напряжённые руки мастера, и своё размытое, удивлённо-очарованное лицо, отражённое в пыльной витрине маленького южного городка. Что это было, что могло так поразить десятилетнего провинциального мальчика в синих сатиновых шароварах и жёлтой линиялой футболке? Какие неясные мысли и чувства спонтанно сошлись в это мгновение в его душе, сплавляясь в острое, неизбывное желание немедленно выразить всю гамму нахлынувших ощущений единственной фразой, точной, короткой, рельефно-выпуклой, словно эта отлитая в бронзе фигурка?

Тогда я ещё не знал названия этому чуду – предощущению метафоры, рождению единственной и неповторимой, только твоей тайны. В тот день я ещё не знал, что пройдёт совсем немного времени, и жизнь, только по одной ей ведомым законам, разлучит меня с тихими переулками моего детства и вынесет в студенческие годы сперва на широкие шумные улицы Москвы, а потом, уже молодым инженером, на проспекты и набережные родного мне сегодня Питера, а потом дальше-дальше – на площади и перекрёстки многих чужих городов и столиц.

В тот день я ещё не знал, что судьбе будет угодно к середине жизни научить меня конкретным серьёзным вещам: умению вместе с моими товарищами по КБ строить удивительные, совершенные машины; писать сухие, отягчённые скучными терминами статьи в толстые научные журналы; вести на чужом языке заумные, пересыпанные цифрами и графиками разговоры на иноземных симпозиумах.

Не знал и того, что судьбе будет угодно ввести меня в удивительный мир совершенных звуков и образов, именуемых поэзией, даровать радость творчества и авторства двух десятков книг прозы, поэзии, юмора, сделать профессиональным литератором и членом писательского союза Великой страны, которой, увы, уже нет, и напоминанием о которой – лишь красная членская книжка тонкой телячьей кожи с тисненным профилем вождя на титуле.

Но в тот день, всматриваясь в пыльное стекло витрины маленькой часовой мастерской, я уже точно знал, что вошедшее в меня ощущение, великая тайна без имени – моя любовь и мука навсегда.

В тот день на тетрадном ученическом листке в косую линейку я записал свои первые рифмованные строки.

*...С тех пор прошло лет двадцать. И однажды я оказался вновь, совсем случайно на перекрёстке двух нешумных улиц родного, как и прежде, городка. Там всё, как в детстве. И смешной уродец, не тронутый ни временем, ни ношей, несёт свой шар с огромным циферблатом, где мудрые показывают стрелки всё то же время - без пяти двенадцать. А сквозь витрину видно, как и прежде, как часовщик, зажав под бровью лупу, склоняется над сложным механизмом. И в поле зрения остаётся только его седой, как двадцать зим, затылок.*

## **Я из этого дома напротив**

Из тех, самых первых моих сознательных мироощущений, помню яркий весенний день, вероятно, Первомай пятьдесят второго. Небольшой городок под Донецком, куда мои родители приехали по комсомольским путёвкам на восстановление разрушенных шахт. Папа, мама и я идём в кино. Точнее, идут они, а я гордо восседаю на шее у отца в новом, сшитом на заказ, военном костюмчике с маленькими артиллерийскими, как у отца, погонами и с крохотным алым флажком в руке, на котором белым написано «Миру-мир». Фильм назывался «Падение Берлина», и это первое кино в моей жизни. Позже мама рассказывала, что добрых две трети фильма я вёл себя вполне пристойно, сидел у папы на коленях, сопел, смеялся, тянул руки к экрану. Но потом начали стрелять, те самые папины гаубицы адресными снарядами «По Рейхстагу», и я заплакал. Орал так, что отцу под шиканье зрителей пришлось вынести меня в фойе. Так мне и не удалось досмотреть моего первого фильма.

Много позже я все же досмотрел его и знаю теперь, чем дело кончается. А кончается оно величественным парением четырёхвинтового лайнера, на котором вождь и генералиссимус в сопровождении краснозвёздных истребителей летит в поверженный Берлин. И там выходит в ослепительно белом мундире к воинам-победителям и говорит с ними о величии их подвига, о величии страны. Правильные слова говорит, великие и мудрые, такие, что кинозал встаёт и слушает их, стоя. Но я ничего этого ещё не знаю, ни про вождя, ни про Великую Победу, ни про лагерь в колымской пойме, и потому ору себе благим матом, так, что даже в фойе билетёрша укоризненно кривит углы рта.

\* \* \*

Бабушка умерла после долгой болезни 5 марта пятьдесят третьего, в один день со Сталиным. Собственно, этим единственно ве-

ликим совпадением и отмечена вся история её трудной и неприметной жизни.

Великая трагедия страны не затмила нашей, частной скорби. Провожали бабушку тихо, по-семейному – отец, мама, её сестра Алла и её муж, мой дядя Володя. Были ещё люди с лопатами, в телогрейках и тяжёлых кирзовых сапогах. Мне было три с половиной, и я сидел в кабине отцовского ЗИСа, наблюдая происходящее на кладбище сквозь лобовое стекло машины. Мне запомнились тяжёлые лопаты людей в телогрейках и то, как округлые вмятины, оставляемые их сапогами, заплывали жидкой грязью и талой водой, а ещё большие, чёрные, картавые птицы, рассеявшиеся поодаль в чёрных голых ветвях деревьев, окаймлявших кладбищенскую ограду.

Это был первый уход из моей жизни близкого человека, я тогда плохо понимал суть происходящего, горечь и слёзы матери, но я, кажется, точно запомнил атмосферу дома в те дни. Во всяком случае, достаточно точно, чтобы позднее написать это:

Птицы чёрные ходят в зените –  
в синем небе над рыжим жнивьём.  
Птицы белые мокнут в корыте –  
это мама стирает бельё.

Птицы чёрные кружат победно –  
ясный воздух высок и упруг.  
Птицы белые просят следом,  
рвутся к солнцу из маминых рук.

Я окно растворяю пошире.  
Я кричу ей: – Пусти же их... Но  
птицы чёрные кружат над миром,  
птицам белым летать не дано.

Птицы белые – ах, как неловки –  
лупят воздух обрубками крыл,  
а взлетают не выше верёвки,  
словно кто-то картечью накрыл.

\* \* \*

Шло лето пятьдесят пятого. Отец искал работу, что в маленьком южном городке было непросто. Мама сидела дома, шила на старом «Зингере» распашонки для моей ещё не родившейся младшей сестры, учила меня читать. Я с интересом осваивал картин-

ки и взрослые непонятные тексты в подборке журналов «Вокруг света», невесть как заваливавшихся в казачьей хате брата отца, у которого мы квартировали после переезда с Донбасса на Кавказ. А вечерами, когда мой дядька Сергей с отцом садились на кухне поговорить «за жизнь», затаив дыхание, слушал печальные истории бытия моей казачьей родни.

Много позже, уже в Ленинграде, связав в памяти те давние отрывки, перелистав немало страниц в «публичке», я нашёл несколько родных имён в «кавказских хрониках», где помянуты и есаул Иван Корниенко, геройски дравшийся при взятии Кызыл-кале на Тереке, и хорунжий Семён Корниенко, полный Георгиевский кавалер отдельной казачьей роты Тенгинского полка. Не нашёл только имен четверых моих казачьих дедов из последнего поколения, бесследно сгинувших в тридцатых уже моего столетия.

Вдруг полночью питерской, белой  
привиделось, кровь леденя,  
летающее белое тело,  
летающего степью коня.

Проснулся в сознание мятежном –  
откуда тот сон залетел?  
Я степью не хаживал прежде,  
в седле отродясь не сидел.

Тот стебель под корень отхвачен –  
не сыщется даже жнивья.  
Последние песни казачьи  
отпели мои дедовья.

На кольском, чужом полустанке,  
обочь от колючих оград  
последние шапки-кубанки  
с дядьями в могилах лежат

Другие слова и мотивы  
поёт, собираясь, родня.  
Откуда же белая грива,  
летающего степью коня?

...Так думалось мне одиноко  
в ту долгую белую ночь.  
А ночь суетилась у окон,  
пыталась, как прежде, помочь.

Но в жилах – скажите на милость,  
откуда? с какой стороны? –  
кровиночка странная билась,  
привычные путала сны.

\* \* \*

На улицах появились первые транзисторные приёмники, стало больше красиво одетых людей и иллюминации. А по всей стране под мелодию «Куба – любовь моя» шагали бесконечные вереницы хрущёвских пятиэтажек.

Вот и наш дом в центре на Пушкинской назначили к сносу. Родителям предложили квартиру в одной из новых хрущёвок, на «голубятне», как они говорили. Не захотели. Ох, уж эта казачья, генетическая тяга к своей земле. Мои симпатии к ажурным балконам и фаянсовым унитазам впечатления на родителей не произвели, а Жанна, моя шестилетняя сестра, вообще правом голоса не обладала. Посему отъехали мы всем семейством к ближайшей городской окраине, где был куплен большой четырёхкомнатный дом с огромным, в десять соток участком и вишнёвым садом.

На собственных приусадебных угодьях чисто символически произрастало кустов пятьдесят картошки и с десятков кустов помидоров, не требовавших особого внимания, во всяком случае, от моей персоны. Одним словом, всё было бы хорошо, если бы не вишни. Ах, как же восхитительно цвели эти три десятка наших деревьев в первых числах мая, и каким кошмаром для меня был сбор урожая. Вишни не абрикосы, их не возьмёшь простой тряской дерева, только руками, и это моя повинность. Приходилось днями ползать по стволам и сучьям с трёхлитровым алюминиевым бидончиком, притороченным к поясу, как Бен Ган по райским кущам «Острова сокровищ». Только наградой были не пиастры, а десятки эмалированных вёдер мелких кисло-сладких ягод. Из них варили варенье, крутили компоты, делали вино и джемы, раздавали родственникам и сдавали перекупщикам, а они всё не кончались...

Тысячу раз прав был Фёдор Абрамов, когда писал о том, что каждый русский человек должен-обязан походить по своей земле босыми ногами. Наверное, маленькая «приусадебная земля» моего детства далеко не то, что имел в виду классик, и всё-таки, как же я благодарен теперь моим родителям и тем нескольким годам моего отрочества, за то, что провёл их на этой земле. Правда, понимание всего этого пришло много позже, после многих лет жизни на благоустроенных «голубятнях» Москвы и Питера, но про это уже другая история.

Мой блочный, бессрочный // десятый этаж –  
когда-то желанный, // безумный вираж  
над кронами клёнов, // до времени рыжих.  
Те рыжие кроны // ветра размели,  
а листья летели, // понять не могли:  
легко оторваться // от грешной земли,  
не сделавшись небу // роднее и ближе.

\*\*\*

На дворе осень шестьдесят седьмого. Одно из воскресений конца сентября. Ясный, погожий день. Мы всем семейством на участке. Мама с сестрой Жанной сгребают листья, я жгу костёр. Отец сидит под яблоней на табуретке, курит. Иногда он тяжело встаёт, прихрамывая, идёт с ножовкой к дереву, обрезает сухие сучья. Отец тяжело болен, чёртова окопная болезнь, по-научному «облитерирующий эндартериит», через двадцать пять лет после ранения под Смоленском догнала его и жестко скрутила. Завтра мы отвозим его в больницу. На душе тяжело и мутно. В саду тихо и бесприютно, и сам он бесконечно печален и прозрачен...

Вот и пришло опять // время пустых скворешен.  
Листья сгребает мать, // пилит отец черешню.

Ходит в руке пила, // точит кору сухую  
жалко, а всё ж пора – // время сажать другую.

Где-то сквозь листопад // плачет прощально птица.  
Ветер летит сквозь сад – // не за что зацепиться.

\*\*\*

...Вот и всё. Через неделю я вместе со своими техникумовскими друзьями-отличниками, Виктором и Сашей, уезжаю в Москву. Накануне вручения дипломов в техникуме было распределение. Для меня и моих друзей это, в известной мере, формальность, так как мы твёрдо решили поступать в Московский энергетический. Как «краснодипломщики» имеем право в составе так называемой пятипроцентной квоты выпускников техникумов..

Насчёт Москвы – это я уломал приятелей. У них были планы поскромнее, не дальше Ростова. Но письма моего московского друга Женьки, и в особенности, присланные им программы вступительных экзаменов в МЭИ, сделали своё дело. К тому же Женька обещал взять на себя все заботы по нашему обустройству в столице на период вступительных экзаменов. Так что вопрос решённый..

Собирали меня в дорогу основательно. Мама впахивала в чемодан варенья и печенья, совала тёплые вещи. Напрасно я пытался объяснять, что еду пока на месяц, сдавать экзамены, а потом, как поступлю, вернусь и соберу всё необходимое заново (мысль о том, что не поступлю, как-то в голову вообще не приходила). Все мои аргументы на маму, увы, не действовали. Она всхлипывала, старательно запихивала обратно то, что я с негодованием выкидывал из чемодана и монотонно повторяла, что я дурак и ничего в этой жизни ещё не понимаю.

Как же она была права. Только по прошествии многих лет я понял это. Понял и всю скорбь этой пустяшной её заботы, и бесконечность утраты, переживаемой ею в тот момент. Ведь я, ещё не ведая, не осознавая всего происходящего, и, вправду, уходил из родного дома. Уходил навсегда...

## Арбатское сожаление

На стенде приёмной комиссии три списка и наши фамилии, к несчастью, разбросаны по всем трём. Я зачислен в группу «теплофизиков» и остаюсь в Москве. Виктор прошёл на специальность промышленная теплоэнергетика и будет первые пару лет учиться в филиале МЭИ в Смоленске. Саша в третьем списке, он не прошёл по конкурсу. Настроение у всех, понятно, разное, да и дороги теперь, похоже, тоже разные. Я уезжаю на пару дней домой, сняться с военного учета и окончательно собрать вещи для московской жизни. Витя сразу в Смоленск. А Саша, так уж получилось, через пару месяцев – в сержантскую «учёбку», где-то под Харьковом, а дальше на два года в Чехословакию, так некстати случившуюся в том самом месяце наших общих московских надежд, в августе шестьдесят восьмого.

А помните, и мы хотели, // беспечность прошлую коря,  
всё, что задумано в апреле, // успеть к исходу сентября.

А помните, как мы исправно, // разыгрывая этот блиц,  
сверяли собственные планы // с каплей и прилётом птиц.

И полагали откровенно, // что если с птицами начнём,  
то вместе с ними непременно // все песни к осени споём.

А помните, и мы хотели // вот также синь подмять крылом...

.....



До новой мартовской капели  
всё то, что вместе не сумели,  
даст Бог, мы порознь допоём.

\* \* \*

Леонид Борисович Герчиков, для друзей – Лёня, появился у нас в ДК Московского Энегетического в ноябре семидесятого. Журналист из Баку, работал в своё время на Отдел культуры бакинской «Вечёрки», режиссировал программы знаменитой команды КВН Юлия Гусмана, позднее возглавил известный бакинский молодёжный театр «На Баилове». В Москве осел после женитьбы на москвичке Марине. Отчаянно нуждался в трудоустройстве в столице и в продолжении любимого дела. У нас, в студенческом театре МЭИ, завлитчастью которого, в силу скромных литературных способностей был и я, появился случайно. Разговорились, понравился, решили работать вместе. Главное, Лёня искренне разделял наше желание создать публицистический театр. Классика – это здорово, но это откровенно скучновато, к тому же нужны костюмы, декорации. Театр публицистический – театр условностей. Минимум декораций – достаточно просто символов: фанерные макеты гитар, старые афиши и плакаты, фотопроекции на задник. Минимум костюмов – джинсы, «водолазки». Хороший свет – стробоскопы, лазерные пушки. А, главное, хорошие, современные и талантливые тексты. Для дебюта лучше всего подходил поэтический спектакль.

В конце семидесятого в белорусском журнале «Неман» опубликована американская поэма Евгения Евтушенко «Под кожей статуи Свободы». Кажется, это то, что мы ищем для постановки – ультрасовременная фабула, жёсткие, акцентированные тексты, много монологов. Но всё равно нужна была адаптация материала к сцене: связки, прозаические заставки, лирические тексты для переложения на музыку, которых не было в поэме. Мы с Лёней взялись за вивисекцию оригинала. Не поставив в известность автора, делать это было как-то неприлично. Решили позвонить, точнее, коллектив делегировал эту функцию мне, как начинающему, но уже немного печатающемуся поэту. Нашёл телефон Евтушенко в одном из писательских справочников, позвонил ему домой, на Котельническую набережную. Евтушенко взял трубку сам. Выслушав кто, откуда и зачем тревожит, маэстро после минутной паузы одобрительно хмыкнул, и сказал совершенно неожиданное:

– А вы знаете, Юрий Петрович Любимов сейчас тоже репетирует «Кожу» на Таганке. У них были те же проблемы. Я разрешил

пользовать любой мой подходящий текст, если по постановочной мысли его не хватает в поэме. Да, вам ещё проза для связок нужна. Написал бы сам, но, к сожалению, сейчас уезжаю. Еду, почти на месяц, так что держайте самостоятельно, но поаккуратнее, пожалуйста. Нет, сейчас увидеться не получится, а вот на премьеру зовите, приеду с удовольствием...

Премьера на сцене ДК МЭИ была назначена на конец апреля семьдесят первого. Накануне я позвонил Евгению Александровичу. Он, к счастью, не в Нью-Йорке, и даже не в Риме, обещал приехать. За час до спектакля, как условились, я вышел встретить автора к парадному входу ДК. Серая 21-я «Волга»-пикап подкатила к ДК почти вовремя и – очередной сюрприз. Евтушенко не один, он привёз на нашу премьеру трех актёров Таганки: Вениамина Смехова, Машу Полицеймако и Александра Филиппенко, который в то время ещё играл в студенческом театре МГУ, но уже репетировал «беспокойного студента» в «Коже» на Таганке. Через служебный вход повёл гостей в нашу «гримёрку». Ребята робеют, всё-таки знаменитый автор, живьём. Евтушенко вальяжен, улыбается, знакомится, шутит, фотографируется с народом на память, выдаёт экспромты.

Узнав, что одна из наших смущающихся актрис, Марина, родом из подмосковной «Перловки», мгновенно реагирует: «Марина из Перловки, не будьте так неловки». Ещё через мгновение, сообразив, что окончательно вогнал девушку в краску, поморщив лоб, маэстро добавляет: «Но в вашей девичьей неловкости, есть столько прелести и лёгкости». С «лёгкостью» девичьего поведения, кажется, тоже не совсем удачно, все смеются.

Третий звонок. Пора. Ребятам на сцену, Евтушенко с «таганцами» – в гостевой, третий ряд партера. На правах одного из авторов спектакля, равно, как и в ипостаси полномочного культурно-комсомольского деятеля, сижу рядом с Евтушенко. Разумеется, всё внимание не на подмостки, а на реакцию автора. То, что происходит на сцене, мне известно до малейшего придыхания нашей примы, Гали Кан, и тишайшего скрипа отбивающих такт ботинок нашей соло-гитары, Серёжи Богомольца. Ребята играют здорово. Даже следы моей сценарной работы – грубоватые усекования оригинального текста и эпатирующие связки интимной лирики с соцреалистической гражданственностью, почти не заметны. В какой-то момент мне показалось, что Евтушенко стало неинтересно. В середине спектакля он вытащил сигарету и стал нервно мять её в зубах. Нет, показалось. Сигарета спрятана в нагрудный

карман, Евтушенко сидит, жёстко сжав подлокотники кресла и слегка подавшись вперёд, временами вместе с актёрами проборматовывает собственный текст.

Финал спектакля великолепен. Шквал аплодисментов, кажется, и вправду, здорово. Зритель, которому, разумеется, известно, что Евтушенко в зале, требует автора. Автор выходит, говорит добрые слова актёрам. Заодно вспоминает, что, когда он последний раз встречался в Штатах с Апдайком, тот поведал ему, что его переложение для сцены «Кентавра» взялся поставить один из студенческих самодеятельных театров. Этим Джон Апдайк был безмерно горд, ибо, когда автора ставит самодеятельный театр, а не какой-нибудь коммерческий на Бродвее, — это и есть признак настоящего интереса к произведению.

Тонко ввернул Апдайк или Евтушенко? Ничего не скажешь. Потом Евтушенко читает залу что-то из старого, и совсем новое стихотворение — «Трамвай поэзии». Публика в восторге, требует ещё. Но в «гримёрке» уже готов импровизированный фуршет — с десяток бутылок сухого вина и креплёного портвейна под бутерброды с докторской колбасой, и актёрская труппа требует от автора своей доли внимания. В результате разговор перемещается за кулисы.

«Как молоды мы были!» И уже нет знаменитого автора, нет прославленных актёров театра на Таганке. Да и не прославлены они ещё вовсе. Нет ещё знаменитого смеховского Воланда, и Атоса из «Трёх мушкетеров» тоже нет. И нет ещё знаменитых монологов и киноролей Филиппенко, а есть Веня и Саша, и Маша Полицеймако. Да и Евгений Александрович для половины фуршетствующих уже просто Женя, запросто опрокидывающий в себя стакан «цинандали», и потчующий застолье двумя пачками американского «Винстона», извлечёнными из карманов его серенького, не слишком модного костюма. Кстати, в этой связи мне хорошо запомнилась тогда дважды или даже трижды произнесённая по-этом фраза: «Как хорошо одеты ваши люди». Это по поводу нашей студенческо-преподавательской публики в зале. Одним словом, мы нравимся друг другу. «Таганцы» приглашают весь наш коллектив на их премьеру «Кожи», которая ожидается этой осенью. А слегка захмелевший поэт зовёт всех в начале лета к себе на дачу в Переделкино. Но, кажется, самый королевский подарок он делает нам с Леней Герчиковым, обещая прямо с машинки только что написанную, и ещё неопубликованную поэму «Казанский университет». Запомним...

Первую годовщину театра решили отметить без всяких приличествующих творческому коллективу капустников и богемных тусовок, обычным, банальным походом в кафе в Столешниковом переулке. Накануне я отзвонил Евтушенко, объяснил, где гуляем. К сожалению, в десять кофейня закрывалась, пролетарская столица – не Париж, официанты ненавязчиво снимали недоеденные закуски со стола и несли в подсобку. Видимо, Евтушенко, равно как и нас, такая скорая развязка не вдохновляла, поэтому маэстро, поморщив лоб, неожиданно предложил:

– Мои на даче, дома никого, едем ко мне. Всех не возьму, но человек десять двенадцать в мой пикап влезет. Проверено.

В знакомую мне серую «Волгу»-пикап и, вправду, влезло человек одиннадцать: шестеро в салоне, ещё человек пять мужиков вповалку в багажном отделении. По дороге на Котельническую Женя тормознул у ресторана «Арагви», постучал в ночную дверь. В образовавшуюся щель сунул две пятидесятирублевки в обмен на ящик сухого вина. В багажном отделении пикапа стало значительно теснее. Предупреждённые хозяином о приличиях, через мраморный парадный вестибюль дома чинно проследовали всей компанией к лифтам под прицелом неусыпных глаз бабушки-консьержки. В уже знакомой мне большой, метров тридцати пяти, гостиной, сразу стало шумно и тесно от обилия хмельных гостей. Хозяин, кажется, только сейчас сообразивший о возможных последствиях нашего посещения, умолял о «запрете на другие территории», как он выразился. Куда там. После очередного стакана вина, народ постепенно рассосался из гостиной по всей жилплощади.

Скажу откровенно, мне тоже было интересно знать, как живут главные поэты страны. Похоже, неплохо живут. В квартире Евтушенко на Котельнической набережной, кроме шикарной гостиной, был ещё небольшой, уютный кабинет, спальня, детская, как я понял по многочисленным игрушкам и висевшей в комнате фотографии приёмного сына поэта Петра, а также внушительных размеров кухня. «И ещё целых два туалета», – шепнул мне наш неутомимый следопыт Серёжа Бескорвайный. Насчет туалетов не знаю, не проверял. Мне лично из всей жилплощади больше всего понравился огромный, метров восемь в длину, коридор, сплошь до потолка заставленный стеллажами с книгами. Такую частную библиотеку, а было в ней на вскидку тысячи три-четыре томов, я лично видел впервые. Здесь и, вправду, было чему позавидовать. А вот с мебелью у поэта было не очень. Всё те же, уже помянутые

мною, два фанерованных овальных стола по диагонали комнаты, десяток венских стульев, два матерчатых не первой молодости дивана, посудная горка, и, кажется, ещё пара книжных шкафов вдоль стен гостиной. Среди безделушек, фотографий, двух-трёх неплохих картин, украшавших гостиную, красовался приплюснутый к стеклу книжного шкафа глянцевый пластиночный конверт, явно западного производства, с изображением хозяина квартиры в ковбойском облачении на гнедой коняге и с двумя «кольтами» крупного калибра на бедрах. То, что это хозяин, однозначно удостоверяла и надпись на конверте, сделанная, разумеется, по-английски затейливым рекламным шрифтом. Одним словом, Евтушенко Евгений Александрович.

К слову сказать, через год с небольшим, когда я очередной раз появился в этой гостиной, поэт мебель сменил радикально. Вместо фанерованных столов в центре комнаты вокруг журнального столика на американский манер стоял новенький гарнитур из двух мягких диванов и пары кресел зеленовато-перламутровой расцветки. Впрочем, хватит бытописания.

Не за тем нас поэт к себе звал. После короткого разброда народ снова сколлекционировался в гостиной. Женя заговорил о поэзии, о судьбах литературных и земных, называл имена, знакомые и не очень, читал по памяти стихи Корнилова, Гумилёва, Межирова и ещё чьи-то. Пили сухое вино, дымили сигаретами, о чём-то спорили, потом читали по кругу. Мне очень хотелось прочесть что-нибудь своё, но увы, ничего достойного высокого слога поминаемых имён у меня не было. Непроизвольно схитрил, прочел Кульчицкого: «На перевес с железом сизым и я на проволоку пойду...», а потом свои «Стихи о неверной игре». Женя заинтересованно вскинул брови:

– Чьи это?

Я краснея выдавил:

– Мои.

– Ещё что-нибудь есть?

– Есть, но хуже. Я потом как-нибудь...

Этим мой первый разговор с главным поэтом страны о собственном творчестве тогда и ограничился. Это уже потом, много позже, когда сама поэзия стала для меня невыносимой внутренней потребностью, «любовью и мукой навсегда», мы продолжим с ним разговор о стихах. Но об этом я ещё напишу.

А пока мы сидим в продымлённой квартире поэта на двенадцатом этаже котельнической высотки, и бесконечная осенняя ночь за окном неумолимо сворачивает разговор и круг собеседников. То

один, то другой из наших тихо сползает в угол дивана, замолкает, утомлённый впечатлениями и терпким вкусом грузинского вина. Наконец, в беседе с поэтом остаётся только я и режиссёр Лёня Герчиков. Как всегда, кончаются сигареты. Евтушенко вспоминает, что у него где-то есть сигары и идёт за ними в кабинет. Пока он ходит, прикорнул и Лёня. Женя возвращается из кабинета с деревянной коробкой кубинских сигар. На крышке коробки по-испански подарочная надпись, что-то вроде: «Дорогому Эухенио в дни пребывания на солнечном острове свободы...». Евтушенко протягивает мне одну из сигар, закуривает сам и, смущаясь, говорит:

– Там ваш парень, в кабинете, на диване.

Я заглядываю в кабинет и нахожу в нём Серёжу Бескорвайного, свернувшегося клубком на кожаном диване. Под головой у Серёжи одно из первых изданий «Горя от ума» А. С. Грибоедова, кажется, 1834 года.

Я возвращаюсь из кабинета в гостиную и подхожу к полуоткрытому окну, у которого дымит сигарой Евтушенко. Мы стоим рядом, вглядываемся в тусклое мерцание фонарей, очертивших выпуклой кривой набережную Москва-реки, тихо улыбаемся славной серёжкиной шутке и, кажется, друг другу...

\* \* \*

Я лежал на общежитской койке и, не торопясь, листал конспект теоретической теплофизики, готовился к завтрашнему зачёту, когда в комнату без стука влетел, запыхавшись, Гена Котенев, актёр нашего студенческого театра и мой одноклассник.

– Собирайся, – заорал он с порога. – Я с Веней Смеховым созвонился. У них сегодня вечером сразу два спектакля. Он нас через служебный пустит.

Смотрю на часы, почти шесть, а начало спектаклей – в семь вечера, ещё добраться надо. Конспект летит в угол кровати. Джинсы – на задницу, «водолазку» и кожаную куртку – на «передницу». Хорошо, что на троллейбусе от платформы «Новой» до Таганской площади всего пять-шесть остановок. В тамбур «вахтёрки» через служебный вход просачиваемся без четверти семь. Просим бабушку-вахтёршу отзвонить по внутреннему Вене Смехову. Веня появляется через пару минут, вскидывает правый кулак в интербригадовском приветствии:

– Рот фронт, МЭИ. В общем так, мужики, там уже звонят, так что я вас через кулисы прямо в зал. В первом ряду, справа от прохода, будет несколько свободных мест. Юрий Петрович какое-то начальство ждал, да, похоже, не приедут. И чтоб, как мыши...

Нам не нужно объяснять дважды, успеваем как раз к третьему звонку. Сегодня дают васильевские «А зори здесь тихие», а потом, с часовым перерывом – «Антимиры» Вознесенского. И то, и другое я уже видел, но разве это повод для разочарования. Сидим мы с Геной и, вправду, по-королевски.

Боже мой, как же мне нравятся таганские «Зори», да разве только мне. Вся Москва второй год в восхищении. Ещё нет знаменитого фильма Ростоцкого, и оригинал, сценический первоисточник, как говорится, здесь, на Таганке. Впрочем, первоисточник – это, разумеется, проза Бориса Васильева, но об авторе, грешно сказать, просто не вспоминаешь. Мне очень нравится Шаповалов в роли старшины Васкова, да и девчонки, особенно Славина, тоже в ударе. И как только Любимову удалось сделать такой спектакль. Минимум антуража, практически, нет декораций. Четыре зелёные доски с мелованными автомобильными номерами чудесным образом трансформируются и в кузов военной полуторки, и в сруб деревенской баньки. А над всем этим витийствует знаменитый световой занавес. Мы с Геной сидим совсем рядом с проекторными панелями, поднимающимися от рампы по команде осветителя. Мне очень хочется потрогать этот живой, лучистый занавес рукой, но я сдерживаю себя.

Спектакль, как всегда, заканчивается долгими, минут десять, овациями. Народ потихоньку тянется к выходу в фойе. Нам с Геной туда не надо, а надо где-то в недрах театра перебиться час-полтора до следующего спектакля. Так же, как и вошли, тихо через кулисы возвращаемся на служебную половину Таганки. В узком коридоре – двери гримёрных с именами звёзд. Дёргаю дверь с именем Смехов, заперто. Делать нечего, прислоняемся к подоконнику на площадке у служебных туалетов и закуриваем Славное местечко. Вот энергичной походкой в сторону женской комнаты проходит Алла Демидова, в брючном костюме чёрного бархата. Брюки заправлены в высокие кожаные сапоги. «Зондеркоманда», – шутит Гена. Зондеркомандос выходит из туалетной и нервно курит тонкую сигарету, кажется, «Вогг», прислонясь к соседнему подоконнику.

А вот и хозяин тайги – Валерий Золотухин. Фильм только что прошёл по экранам страны и иначе, чем голосистый таёжный мент, Золотухин не воспринимается даже в кулуарах родного театра.

– Здравствуй, Аллочка, привет, мужики, – Золотухин явно в добром настроении, даже по пути к отхожему месту.

А вот этого мы с Геной не ожидали. По коридору в сторону нашей курилки, разминая в пальцах сигарету, идет Высоцкий. Одет,

но прямо, как я: джинсы, водолазка, коричневая кожаная куртка, даже штаны у нас одной фирмы – «Левис». Подходит прямо к нам, с Демидовой не здороваются, может, уже виделись.

– Мужики, огня не найдется?

Я сую руку в карман и вытаскиваю, подаренную мне моим соседом по общаге, алжирцем Буалемом, одноразовую французскую зажигалку «Крикет». Зажигалка, чёрного пластика с золотым силуэтом Эйфелевой башни на корпусе – предмет моей гордости. Это сегодня их в каждом ларьке – пяток на червонец, а тогда, подозреваю, была эта грошовая цацка в моём кармане в единственном московском экземпляре.

Высоцкий чиркает кремнем, рассматривает зажигалку:

– Париж скребут, Париж парадят, бьют пескоструйным...

Гена не дает мэтру закончить и мгновенно, со студийным напором, подхватывает:

– Мадонн эпохи рококо продраивает душ Шарко.

Владимир Семёнович явно заинтересован. С одной ему присущей иронической интонацией, вскидывая правую бровь, спрашивает:

– Кто такие? Откуда? Почему не знаю?..

Объясняем, рассказываем ему о нашем театре и о евтушенковском спектакле.

– Да, да, слышал. Смехов рассказывал.

Курящая рядом Демидова, кажется, тоже заинтересована разговором, во всяком случае, поворачивается к нам анфас.

– Кстати, – спрашиваю у Высоцкого, – а когда у вас премьера «Кожы»? Саша Филиппенко говорил что-то об этой осени.

Высоцкий молчит, но зато неожиданно вступает в разговор Демидова:

– Перенесли премьеру, думаю, месяцев на восемь-десять. Он же и настоял у Любимова, – кивает в сторону Владимира Семёновича. – У нас сейчас «Гамлет» на выходе, так что не разорваться...

«Гамлет» с Высоцким вышел на Таганке ранней весной семьдесят второго и впечатление на театральную публику произвёл ошеломляющее. Пожалуй, ради такого спектакля Любимову и, вправду, стоило повременить с «Кожей».

\*\*\*

Евтушенко сдержал слово. В середине октября он позвонил Лёне Герчикову и пригласил нас на предпремьерный показ «Кожы статуи Свободы» на Таганке. Был специальный прогон для культур-





А. Ковалёв с отцом,  
матерью и сестрой. 1961 г.



На тепловой электростанции  
в Мидленде, США



Япония, Гинза.  
С женой Галей. 1999 г.



Выступает  
Евгений Евтушенко.



На съёмках «Смехопанорамы» с Евгением Петросяном.



Академик Жорес Алфёров и Александр Ковалёв.

ной общественности столицы, которой в столице обитало безмерно, потому нам досталось всего три пригласительных билета. Пошли Лёня, наша актриса Ольга и я. Спектакль был поставлен Любимовым в очень своеобразном ключе, скорее даже не спектакль, а некое агитшоу – «обнажённый нерв современной Америки», как писала критика, не лишённое проверенных американским Бродвеем элементов мюзикла и эпатажа. На сцене только молодёжь театра, практически ни одной звёздной фамилии, разве что Боря Галкин, имя, которое мне что-то уже говорило. В середине спектакля случилась неприятность: актёра, читающего монолог Христа, должны были водрузить на металлическую стенку, оформляющую задник сцены, как на распятие, вернее, на крюк, торчащий из стены. При водружении крюк не попал в кольцо на поясе актёра и больно ударил его в позвоночник. Актёр вскрикнул, но мужественно дочитал монолог до конца, чем вызвал бурю оваций по прочтении.

Вообще, культурная общественность приняла спектакль «на ура», собственно, как и все работы Любимова той поры. Юрия Петровича и Евгения Александровича, одетого по случаю в свою американскую обнову – лилового цвета костюм с радужными разводами, долго не отпускали со сцены. Несколько слов, выйдя на сцену, сказали Утёсов и Райкин. Аркадий Исаакович так прямо и сказал: «Спасибо за два часа правды об Америке». Потом все пошли в буфет. Вокруг Евтушенко и Любимова плотным кольцом с бокалами в руках стояли кумиры поколения: Утёсов, Окуджава, Рубен Симонов, Расул Гамзатов с лицом цвета парной говядины и с кунаками (члену Президиума Верховного Совета СССР охрана полагалась даже в буфете). Не был замечен только Вознесенский. Впрочем, тогда нас это занимало не очень. Важнее были знаки Бори Хмельницкого, который от подоконника призывно помахивал нам откупоренной бутылкой шампанского.

\* \* \*

Вознесенский обнаружился через месяц сам. Точнее, не совсем сам. В то время мы репетировали спектакль «Современные истории». Были в нём и стихи Вознесенского, кажется, «Плач по двум не рождённым поэмам», какие-то куски из «Озы». Нужна была консультация автора. Я позвонил, договорились о встрече в ЦДЛ. Андрей Андреевич в коротком чёрном полупальтишке покроя морского бушлата и с неизменным красным шарфом в три оборота вокруг шеи был на редкость точен. Мы, как всегда в последнее время, троём – я, наша актриса и моя подруга Ольга и Лёня. Вознесенский

провёл нас в кофейню ЦДЛ, не в обеденный зал с камином, а в тот, который уже в мою бытность действительного члена писательского клуба называли «обезьянником». На светленьких стенах кофейного зала совершенно очаровательные автографы знаменитостей. Мне в глаза сразу же бросилась такая: «Я, недавно, ев тушёнку, вспоминал про Евтушенку». Чуть пониже кто-то из сторонников Евгения Александровича талантливо парировал: «Используя такие рифмы – в пути не раз встречали риф мы. Но видно здесь без всяких слов – вы в эпиграммах не Светлов». Очень даже славненько.

Вознесенский, немного слышал о нашем коллективе и сразу же взял быка за рога:

– Зачем вам отдельно два – три стишка? Возьмите поэму. Вот у меня «Лёд-69», можно фантастически решить в цвете. Представляете: лёд политический – красный, лёд экологический – зелёный, лёд лирический – голубой... Я недавно видел похожее решение в «Хие» на Бродвее. (Вероятно, имелся в виду знаменитый мюзикл «Волосы»).

И вдруг, совершенно неожиданно к ошарашенной Ольге:

– Кстати, вы там не играли?..

Подошёл Игорь Шкляревский, слонявшийся по залу от стола к столу. Узнал нас, поприветствовал. Достал из кармана книжку, похвастался: только что в Ленинграде вышел его сборник «Воля». Я немедленно напомнил ему об обещании подарить мне книгу с автографом. Шкляревский смутился:

– Понимаешь, у меня всего одна. Надо бы в Ленинград съездить, купить...

Вознесенский невозмутимо посоветовал Шкляревскому съездить.

– Если свою не найдешь, купи Виктора Соснору, у него тоже на днях книжка вышла...

Умел Андрей Андреич сказать приятное коллеге. Вообще с неординарностью мышления у него было всё в порядке.

\* \* \*

Осень семьдесят третьего. Безумно быстро летит время. Я уже на пятом курсе, да и театру почти четыре года. За это время у нас вышло полдесятка спектаклей, десятки встреч, знакомств и работы со знаменитостями: Симонов, Гамзатов, Межиров, Тендряков... Да и у меня что-то получается в поэзии. Пока ещё робко, во многом подражательно, но у меня хорошие учителя Евтушенко и Межиров, да и московская молодёжная пресса не обижает, печатает понемногу. Жаль, со временем напряжёнка.

В ноябре я целиком ушёл в дипломную работу. Моя экспериментальная установка размещалась в подмосковной научной лаборатории института, в посёлке Малые Вязёмы, часа полтора езды с Белорусского вокзала. Программа испытаний была большая, ездить каждый день туда и обратно – только время терять, поэтому я неделями сидел в подмосковной лаборатории, практически в одиночку. Здесь же спал и кормился нехитрой, привезённой из столицы снедью, гонял установку, обрабатывал результаты экспериментов. Из собеседников – только радиоприёмник, сутками настроенный на волну «Маяка». В один из таких ноябрьских дней вместо лёгкой музыки из динамиков – репортаж с какого-то Пленума ЦК. Попробовал другие станции – то же самое. Делать нечего, слушаю, что дают. А давали в торопливую очередь выступления членов Политбюро и республиканских секретарей. И в каждом: «дорогой и горячо любимый Леонид Ильич». Тон задавали азиаты, но и европейцы – хохлы с белорусами, то же не лаптем щи хлебали. На очередном сокровенном пассаже, кажется, товарища Кунаева, плюнул, выдернул вилку приёмника из розетки. Стало безумно противно и стыдно. Выключил установку, надел брезентовый плащ и пошёл через морозящий осенний полдень в соседнюю рощицу. Отдыхался, потом долго сидел на каком-то сыром пне, а в висках, сначала тихо, потом всё настойчивее и громче внутренний метроном отстукивал свой, давно уже не тревоживший меня ритм.

Ах, как жаль, что не мне этот жребий –  
проживать у Арбатских ворот.  
Больше просини было бы в небе,  
был бы в жизни иной поворот.

Я б радушной поэтов столичных  
москвичам и приезжим подряд,  
не считаясь с пропискою личной,  
свой раздаривал редкий талант.

В каждой улочке гость долгожданный,  
не таящий щедрот до поры,  
я от Бронной до Новобасманной  
расписал бы зарею дворы.

Я бы, кисть окуная соболью  
по утрам в листопад городской,  
описал бы, с какою любовью  
мы проходим по нашей Тверской.

Не в «джинсе», в пиджачишке буклежном,  
узнаваем и всеми любим,  
о, какие бы песни прилежно  
я слагал горожанам моим.

Я б делил с ними радость по-братски,  
от несчастий стерёг их покой...  
Ах, как жаль, что с пропиской арбатской  
до меня это сделал другой.

Но вот, кажется, и все. Диплом с блеском защищён. Красная книжка с гербом страны на титуле основательно обмыта. Выбор сделан. Я воспользовался правом «краснодипломщика» на свободное распределение и еду к своей, теперь уже жене, Ольге в Питер, на ЛМЗ. Наверное, не самое умное решение. Можно было остаться ещё года на три в Москве в аспирантуре. Можно было годик отзаниматься на спецкурсах английского или французского и потом – куда-нибудь в развивающуюся Африку или Латинскую Америку за карьерой и зелёными деньгами. Но ведь я женат, семейный человек, а что за семья – она в Лондоне, он в Париже. Поэтому я еду в Питер...

*Продолжение следует*

**От редакции:** 30 мая 2019 года исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Николаевича Ковалёва, доктора технических наук, профессора, одного из крупнейших энергетиков современной России, члена Союза писателей СССР (России) с 1991 года. Александр Николаевич ярко проявил себя и на ниве литературного творчества – поэт, прозаик, публицист, автор свыше 20 книг. Он хорошо известен широкому кругу российских читателей своими юмористическими произведениями, публикуемыми в «Литературной газете», звучащими в юмористических передачах Центрального телевидения.

Поздравляем Александра Николаевича с юбилеем с пожеланиями новых творческих успехов в науке и литературе. Здоровья, радости, неиссякаемого юмора и новых публикаций в журнале «На русских просторах».